
«НА ЗЛОБУ ДНЯ»

О Солженицыне и его обвинителях*

**Шмеман А., прот. Собрание статей, 1947–1983 /
сост. Е.Ю. Дорман. 2-е изд. М.: Русский путь, 2011**

1

Ко всякому подлинному творчеству — писателя, художника, мыслителя — можно подходить двояко. Один подход, соответствующий, я убежден, тайне и чуду творчества, состоит в усилении *услышать* или увидеть данное творчество в собственной его глубине и целостности, а потому и в его «уникальности», и таким образом расшифровать то, что всей своей совокупностью оно — и только оно — являет, о чем свидетельствует, что вносит собою в наше сознание, в нашу жизнь. Существует, однако, и другой, как бы обратный, подход, и заключается он, прежде всего, в *редукции* творчества к априорным, то есть вне его лежащим, категориям и идеям, выдаваемым за самоочевидные, не подлежащие ни уяснениям, ни пересмотрам. И вот приходится с грустью признать, что именно этот второй подход имеет все больший успех в нашем мире, живущем, по слову русского философа Б.П. Вышеславцева, под двойным знаком: «трагизма возвышенного и спекуляции на понижение».

Эта мысль пришла мне на ум при чтении один за другим появляющихся как в русских, так и не русских изданиях вариантов хотя и разными людьми составленного, но единого по духу «обвинительного акта», предъявляемого сейчас Солженицыну. Ибо больше всего поразила меня в этом «акте» направленность его как раз на *редукцию*, на «сведение» Солженицына к готовым словесным штампам. Вот главные из них: Солженицын — вождь «новой русской правой», антидемократ, антизападник, изоляционист, враг правозащитного движения, враг свободы прессы, националист, идеализирующий старую Россию, ненавистник Февраля (а не Октября), хулитель Америки, проповедник русского православного мессианизма... Список можно было бы продолжить, но и этого перечисления достаточно, я думаю, чтобы убедиться в «массивности» обвинения. И то, что в одних «вариантах» мы находим выражения вроде «хомейнизм» и «национал-большевизм», а авторы других действуют мягче, с нюансами, оговорками, скорбью, вопрошаниями, ничего не меняет по существу. Цель у всех одна: низвести автора «Архипелага ГУЛАГ» с пьедестала, на который вознес его «культ личности», и представить на суд мирового общественного мнения таким, каким, по всей вероятности, по «нутру» своему, он всегда и был: примитивным националистом-реакционером, «авторитаристом» и безнадежным антизападником. Главное же — предупредить мир: «Солженицын опасен...».

* Вестник РХД, № 130. Париж, 1979. С. 237–246.

В этой короткой статье я не собираюсь «защищать» Солженицына, он в защите моей не нуждается. Пиша ее, я думаю не столько о нем, сколько о его обвинителях. Меня волнует вопрос: *откуда* эти обвинения, это стремление *свести* Солженицына к готовым и заезженным штампам? Откуда эта столь очевидная неспособность или нежелание услышать в творчестве Солженицына то, что с первой же встречи с этим творчеством мною — но, конечно, не мною одним — воспринято, услышано было как *самое главное* в нем, то, что делает его именно «уникальным» и по отношению к чему только и можно, я убежден, правильно понять и все другие его «измерения»? Иными словами, цель моя в том, чтобы, хотя бы кратко, уяснить сущность этой «реакции на Солженицына», реакции притом не с Запада, а от его же, Солженицына, соотечественников, дышавших одним с ним воздухом, выросших и живших под одним с ним небом.

И вот мне кажется, что сущность эта и раскрывается лучше всего в том методе, которым пользуются обвинители Солженицына и который я называю методом редукции. Только при помощи такого метода под обвинительный акт, предъявляемый Солженицыну, можно подвести кажущееся — и не только читателям, но, я полагаю, и самим обвинителям — *объективным* основание. Для этого требуется, во-первых, «разбить» творчество Солженицына, изолировать в нем одну от другой различные «темы» — России, Запада, свободы и т. д., а во-вторых — «свести» каждую из них к готовой, общепринятой, «штамповой» терминологии. И вот облик Солженицына как «антизападника», «националиста», «врага свободы и правозащитного движения» и впрямь становится убедительным. Метод редукции, повторю еще раз, потому так и популярен в наши дни, даже в науке, что, пользуясь им, можно все что угодно свести к чему угодно. Можно Евангелие свести к Марксу, Достоевского — к Фрейдю, Россию — к Ивану Грозному и Малюте Скуратову, а Солженицына — к «хомейнизму» и «национал-большевизму».

Отсюда первый важный вывод: метод редукции нужен и им пользуются тогда, когда такой редукции — сознательно или бессознательно — *хотят*. Хотят же ее — вопреки тому, что мы привыкли думать, — совсем не одни казенные пропагандисты тоталитарных идеологий. Хотят ее — хотя, конечно, по-другому и исходя из других предпосылок — все те, чье сознание, чья мысль — в плену неизмеримо более глубокой «редукции», редукции уже не «текстов», а самой *реальности* — мира, человека, науки. Такая редукция, употребляя собственную ее терминологию, может быть «правой», «левой», «демократической», «националистической», «либеральной» и т. д. Но психологическая и, глубже, духовная сущность у всех них всегда одна и та же. Это — аркан, наброшенный на реальность, будь то прошлого, будь то настоящего, будь то будущего. Это — *чтение* мира и всего в мире при помощи в один цвет окрашенных очков, это каждой такой редукции присущая *своя* система страхов и подозрений, запретных вопросов и тем. И потому это — всегда и неизбежно — *сведение* к себе, к своим категориям, к своему видению мира всего того, что говорят, пишут, творят, защищают, являют «другие».

Увы, именно такую редукцию нетрудно распознать в основе обвинительного акта, предъявляемого Солженицыну. Именно она, с одной стороны, не позволяет обвинителям услышать в его творчестве то, что я называю главным в нем и о чем

буду говорить ниже, а с другой стороны — заставляет их инстинктивно воспринимать это творчество как опасное, разрушительное для тех убеждений, для того миропонимания, вне которых — утверждают они — *nulla salus est*¹. Отсюда желание во что бы то ни стало *свести* солженицынское «чтение» России, Запада, мира, человека, чтение, изложенное им на тысячах страниц, — к карикатурно-упрощенной и банальной схеме.

Из многих возможных примеров приведу один. Солженицын признал, что, хотя в первоначальном замысле его «Узлов», его художественного исследования как нарастания, так и сущности русской революции центром тяжести предполагался Октябрь, в процессе работы он осознал необходимость коренного пересмотра Февраля и создавшихся вокруг него легенд и мифов. Пока что из этого огромного, многотомного труда доступны нам всего лишь несколько «предфевральских» глав. Но вот реакция на них — и какая окончательная, безапелляционная! — в одном из обвинительных актов: «...вот они лозунги: все беды от республики, от демократии. Не стремитесь к ним, не поддавайтесь на обман отравленных Западом либералов! И для подкрепления вывода — рассказ о том, как эти гнусные либералы подтачивали Россию и как ее защищал Марков 2-й, глава Союза Русского Народа, печально известного черносотенной, погромной идеологией и практикой... *Чтобы знали люди, кто их настоящий друг*» (выделено мною. — А.Ш.). В этой реакции примечательнее всего то, что в ней ни слова не сказано о том, верен или неверен сам рассказ Солженицына и если неверен, то в чем именно. Что — подтасованы в нем факты, искажены или замолчаны чьи-то слова, неправильно процитированы источники? Или еще проще — лжет или не лжет автор «Архипелага ГУЛАГ»? В том-то и все дело, однако, что не это важно для обвинителя. Важно, опасно, преступно — само солженицынское прикосновение к *запретной теме*, само это святотатственное намерение *пересмотреть* Февраль, который, поскольку шел он под знаменем демократии, *должен* считаться явлением положительным, тогда как Октябрь *позволено* (да и то сравнительно с недавних пор и далеко не всеми критиками советского режима) рассматривать как явление отрицательное... И потому — пальба из всех пушек, из коих самая сильная, конечно, это имя, одно только и названное из дюжины упоминаемых Солженицыным, Маркова 2-го. Не для того ли — хочется спросить, — чтобы хоть как-то пристегнуть это имя и «черносотенную, погромную идеологию» к имени и идеям Солженицына?

И так почти во всем. Солженицын действительно подвергает страстной критике западную демократию, западную прессу и, *horrible dictu*², многое в западной «практике» свободы. У обвинителей Солженицына, однако, эта критика как-то почти незаметно превращается в *отрицание* им прав и свободы. Ведь вот, разоблачая солженицынский «национализм», обвинители оговаривают, что они не против здорового национального чувства как такового, а только против «других» его последствий. Но почему же, спрашивается, «другие» последствия, искажения, слабости и злоупотребления невозможны и в демократии, и в свободной прессе, и

¹ ничто не хорошо (лат.). — Прим. сост.

² страшно сказать (лат.). — Прим. сост.

в пользовании свободой? Разве Гитлер, например, не самым что ни на есть демократическим путем пришел к власти? Но нет, тут у обвинителей всегда две мерки. Если речь идет о России, о национальном чувстве, о Православии — тут все одни сплошные «опасности». А если о февральской демократии, о слепоте западной интеллигенции или о злоупотреблении свободой — здесь под подозрение и под обвинение немедленно берется само вопрошание, сама критика. С марксизмом вот нужно спорить вежливо, ибо, по словам В.Н. Чалидзе³, «дискуссия с теорией должна вестись также теоретически: одна ссылка на практику нынешнего коммунизма и на его зверства (уж не три ли тома «Архипелага» названы здесь «ссылкой»? И разве кроме «нынешнего коммунизма» существовал в прошлом какой-либо другой? — *А.Ш.*) не может опровергнуть теории Маркса». А зато для редукции солженицынского творчества к зловещей «опасности» достаточно, по-видимому, нескольких цитат, нескольких поспешных обобщений и, наконец, «чувства, что работа (какая? — *А.Ш.*) ведется (кем? где? — *А.Ш.*) во имя его идей...».

2

Все сказанное приводит нас к тому, что выше я назвал *главным* в солженицынском творчестве, к тому внутреннему его стержню, вне которого не понять настоящему, я убежден, ни единства его, ни силы, ни подлинного смысла. Это главное — опыт небывалого, неслыханного *духовного кризиса*, в который стремительно погружается современное человечество; опыт, который Солженицын пережил и осознал с исключительной силой и по отношению к которому — как противостояние, как противодействие ему — созидает он свое творчество. Не увидеть, не услышать, не почувствовать это — и не только в поистине «эпохальном» «Архипелаге ГУЛАГ» (неслучайно же воспринятом всем миром как книга не об одной России, а и о судьбе человека и человечества), но и в «Раковом корпусе», и в «В кругу первом», — мне кажется просто странным, и если *это* нужно доказывать, то тогда, как говорил покойный В.В. Вейдле, «не нужно доказывать». Суть же этого кризиса — в отрыве современного человека от того *высокого* самопонимания, того знания им своей духовной природы, которыми плохо ли, хорошо ли (чаще плохо, чем хорошо), но жил человек на протяжении веков и которыми — несмотря на все свои падения, измены и преступления — мерил себя и свою жизнь. В отрыве этом — и для нашей темы это особенно важно подчеркнуть — не только тускнеют, но и извращаются те действительно высокие и священные ценности — *личность, свобода, права*, в нечувствии или даже в отрицании которых обвиняют Солженицына. Извращаются потому, что только из этого высокого самопонимания они родились и только в нем раскрывается их подлинный смысл. Они *не снизу*, а *свыше*, и если от этого «свыше» отрываются и становятся самодовлеющими, то неизбежно начинается их разложение. *Откуда* личность, *откуда* права, *откуда* свобода?

³ Чалидзе Валерий Николаевич (р. 1938) — математик, диссидент, создатель Комитета по правам человека с участием А. Сахарова и И. Шафаревича, эмигрировал в США в 1972 г., основал в США издательства «Хроника» и «Чалидзе Пабликейшн». — *Прим. сост.*

И в чем же их сущность? К этим вопросам, как к стенке, приперт наш мир, уже веками самого человека выводящий не выше, а снизу, *сводящий* его к той «природе», в которой ни личности, ни свободы, ни прав *нет*. Приперт — и все равно отказывается их слышать и презрительно от них отмахивается. Вот Чалидзе пишет: «Что касается обязанностей, то отстаивать их нечего: коль скоро они предусмотрены законом, дело власти следить за их исполнением». Вот и все. Никаких вопросов нет. Как будто Солженицын, призывая — наряду с правами — вспомнить и об обязанностях, имеет в виду уплату налогов или правила перехода улицы, а не те *высокие* обязанности, которые неотъемлемы от сущности человека, а потому и от сущности прав и без которых права эти рано или поздно начинают восприниматься как гоголевское «миру не быть, а мне чаю пить». Как аксиому, очевидную всем «изучавшим и понимающим существо идеи права», Чалидзе провозглашает, что «смещение прав и обязанностей *логически бессмысленно*» (выделено мною. — *А.Ш.*). И не чувствует, конечно, что утверждение это с предельной точностью выражает саму сущность того духовного кризиса, о котором без усталости свидетельствует Солженицын.

Логически! Но логически в тысячу раз бессмысленнее *свести* человека — как это делает наша современная цивилизация — к экономическому, биологическому, историческому, социологическому и всем прочим «детерминизмам снизу» и в то же время утверждать за ним свободу и права, неизвестно откуда взявшиеся, ибо в «детерминизмах» этих места им нет. И именно эта хрупкая, ибо — повторяю — «не логическая» связь между двумя взаимоисключающими утверждениями о человеке распадается в наши дни, и этот распад и лежит в основе переживаемого нами духовного кризиса. Он начался не вчера, не с марксизма. Однако именно марксизм *выявил* то основное противоречие, которое, как медленно действующий яд, определило собой всю диалектику западной цивилизации, начиная с Возрождения и затем Просвещения. Вожди Просвещения еще знали, что именно для обоснования свободы и прав человека необходим хоть минимум «трансцендентности». Но когда под ударами обожествившего себя рационализма рухнул их расплывчатый и безжизненный «деизм», противоречие стало очевидным. С ним, этим нелогичным дуализмом, и покончил Маркс своей теорией, покончил и с личностью, и с правами, и со свободой. Неужели, хотя бы для нас, русских, это еще требует доказательств?

Что, однако, по-видимому, все еще требует доказательств — это то, что на вызов этот, брошенный нашей правовой и свободолобивой цивилизации, ответить ей, в сущности, *нечего*, пока сама она продолжает жить той самой «редукцией» человека — исторической, биологической, экономической, — из которой, как растение из семени, вызов этот родился и созрел. Нечего ответить потому, что при принятии этой редукции простое утверждение и провозглашение «прав» оказывается подвешенным в воздухе, ничем не обоснованным, в буквальном смысле слова — *голословным*, а сами эти права, как уже сказано выше, начинают как бы «размываться», сводиться либо к голому эгоизму все сильного «потребителя» («миру не быть, а мне чаю пить»), либо же к коллективным требованиям всевозможных групп (даже когда эти последние ничего не требуют, как в Швеции, на-

пример, где недавно принят закон о праве детей *разводиться* с родителями!). В.Н. Чалидзе, отвечая Солженицыну, успокоительно заверяет его, что нет, «защита прав личности до крайности не доведена, напротив, и в западном обществе эта область права развивается и будет развиваться». Неужели же он не видит, куда идет это развитие «прав», оторвавшихся от своей духовной и нравственной основы, от того понимания и видения человека, из которых они возникли? Неужели он не видит, что именно этот отрыв делает «свободный мир» при всей его несомненной любви к свободе и правовым нормам духовно, именно духовно — *бессильным* перед «искушением тоталитаризмом» (Ж.-Ф. Ревель⁴), искушением, не позволившим на протяжении полувека, да и еще сейчас не позволяющим западной интеллигенции распознать смертельную опасность — для свободы, для прав, для личности — марксизма? Ведь не на Востоке, а на Западе долголетний вождь и «совесть» западной интеллигенции, Ж.-П. Сартр, определил марксизм как «l'horizon indépassable» («непреодолимый горизонт») человеческой мысли — и это после Ленина, после Сталина... Ведь *сейчас*, слушая — с соболезнованием и симпатией — вопли из порабощенной Восточной Европы, демократические и *правозащитные* французские социалисты сердятся и сетуют на французских коммунистов не за то, что они — тоталитаристы, а за то, что они разбили «единство левой» и не дали ей прийти к власти... Но даже когда западная интеллигенция — со всевозможными реверансами и оговорками — «откладывает в сторону» марксизм, даже и тогда она остается в плену у убеждения, что только на почве, взрыхленной марксизмом, вырастает наконец желанное, но загадочное общество с не менее загадочным «человеческим лицом»...

Все это не «политика». Все это зловещие симптомы одного всеобъемлющего духовного кризиса, суть которого, на последней глубине его, — как раз в страшном, трагическом затемнении *человеческого лица*, в отрыве человека от духовной его сущности и назначения, и именно в *явлении* этого кризиса, а также в подвиге его преодоления — *главное* в солженицынском творчестве. Обвинители Солженицына отделяют его «литературные и гражданские заслуги» от его «политических взглядов» и заявляют, что ложными и опасными считают только эти последние. Я убежден, однако, что само различие это — ложное, есть плод той же «редукции», о которой я говорил в начале этой статьи. Выражение «политические взгляды» я считаю к Солженицыну неприменимым. Он не один из тех писателей, которые помимо чисто «художественных» имеют еще и отличные от них «политические» взгляды. Он — писатель, творец, художник *всецело* и *неделимо* не только в своих литературных произведениях, но и в речах и статьях — во всем, вплоть до простого «делового» письма. То, что он считает себя призванным сказать, явить, воплотить, — он говорит, являет и воплощает всегда, и я прибавлю — только — своим писательским даром. А это значит, что ни одну часть его творчества — ни одну статью, ни наделавшую столько шума Гарвардскую речь, ни «Письмо вождям» — нельзя искусственно выделить из целого и свести ее к «политике». Ни одна из

⁴ Ревель Жан-Франсуа (1924–2006) — французский философ и журналист, антикоммунистический мыслитель, долгое время был главным редактором журнала «Экспресс». — *Прим. сост.*

этих частей *не самодостаточна и не самоудовлеющая*, ни одна не может быть по-настоящему услышана вне этого целого и главного. Главное же, я повторяю снова и снова, это тот всеобъемлющий духовный кризис человека и человечества, который он всем своим творчеством являет нам и из глубины которого он обращает к нашей слепой и самодовольной цивилизации свой, всей жизнью вымученный вопрос: *камо грядеши?* Этому вопросу ни западная интеллигенция, ни, по-видимому, безоговорочно примкнувшая к ней часть интеллигенции русской услышать *не хотят* или, плененные своими грезами, *не могут*. «Солженицын, — писал в 1975 году виднейший французский публицист Раймон Арон⁵, — вызывает смятение и возмущение, потому что он бьет по самому чувствительному месту западной интеллигенции, там, где она лжет...».

3

Мое крайне упрощенное, почти к прописям сведенное определение *главного* в солженицынском творчестве ни в коей мере не противоречит его всецелой и страстной — от любви, от боли, от жалости — *обращенности к России*. Обращенности, которую обвинители его, уже как будто просто по привычке, по невозможности думать иначе, *сводят* к «утробному национализму», к русскому «мессианству», к «изоляционизму» и т. п. Но где, когда, в каких произведениях Солженицына они все это вычитали и так перепугались? Для меня, например, коренное отличие солженицынского «национализма» от почти всех других и состоит в полном отсутствии в нем двух мер — одной для своего народа и другой для всех других. Вопреки знаменитой тютчевской строчке, Солженицын мерит, оценивает, разгадывает и объясняет Россию при помощи «общего аршина», того самого — духовного, нравственного, к правде отнесенного, с которым подходит он ко всем народам и ко всему миру. Ничто не бичует он с такой силой в своей Нобелевской лекции, как «разницу шкал» — не позволяющую «создать человечеству единую систему отсчета — для злодеяний и благодеяний, для нетерпимого и терпимого...». Мессианизм? Но где найти у него хоть одно слово о каком бы то ни было специальном «избранничестве» русского народа и России, о какой-либо якобы извечно присущей ей всемирно-спасительной миссии? Вот в ответ на вопрос о том, в какое будущее России он верит, какого желает ей, он говорит: «Слово “провидение” не хочется употреблять всуе. Произнося это слово — вступаешь в область торжественную. Я — убежден в присутствии Его в каждой человеческой жизни, в своей жизни и в жизни целых народов. Только мы так поверхностны, что вовремя ничего не можем понять...». Дальше — о русском народе: «Я — верю в наш народ на всех уровнях, кто куда попал. Не может быть, что 1100-летнее существование нашего народа в какой-то еще неизвестной нам форме не пересилило бы шестидесятилетнего оголтения коммунистов». И, наконец, о России: «Я вижу ее — в выздоровле-

⁵ Арон Раймон (1905–1983) — французский философ, журналист в «Экспресс», бывший одноклассник Сартра и его самый крупный противник, специалист по Марксу, антикоммунистический мыслитель и защитник либерализма. — *Прим. сост.*

нии. Отказаться от всех захватных международных бредней — и начать мирное, долгое, долгое, долгое — выздоровление». Что же это — слова, вера, надежда «мессианиста»? Изоляционизм? У Солженицына, призвавшего мировую литературу отражать «растущее духовное единство человечества»? Сказавшего: «...внутренних дел вообще не осталось на нашей тесной Земле! И спасение человечества только в том, чтобы всем было дело до всего: людям Востока было бы сплошь небезразлично, что думают на Западе; людям Запада — сплошь небезразлично, что совершается на Востоке»?

Стоит ли продолжать? Не очевидно ли, что за вычетом всех этих *выдуманных* преступлений остается, в конце концов, одно невыдуманное? И «состав» его в том, что Солженицын *любит Россию*. В том, что признает многое в ней, в ее прошлом, а также настоящем заслуживающим любви, восхищения, верности, сохранения, благодарности. В утверждении, что в «старой», царской России жилось лучше, чем под советской властью. В отрицании догмата, согласно которому все хорошее в России всегда шло с Запада, а все плохое — от самой России. В разоблачении лжи, выводящей большевизм из самой «сущности» России. И, наконец, в «ужасающем по своим опасным последствиям» утверждении, что истоки России, ее истории, ее культуры, ее жизни — неотрываемы [от Православия].

Тут можно поставить точку. Ибо обвинительный акт предъявляется здесь уже не Солженицыну, а самой России, с нею сводятся [счеты. Что же] касается меня, то Солженицына я считаю единственным, кого в наши дни можно — *mutatis mutandis* — сравнивать с ветхозаветными пророками. Они тоже были всецело обращены к своему народу и его судьбе, его обличали за измены, его утешали, его призывали на путь раскаяния и исцеления. Но вот спустя много тысяч лет их слова жгут нас, как если бы они обращены были сегодня к нам, к нашему народу, ко всему миру. И это так потому, что и любовь их к своему народу, и само их пророчество укоренены были в высокой, духовной, вечной и всемирной правде о человеке и о мире. Ей служили они, служа своему народу и его призывая к этому служению. Это же, с благодарностью Богу, можно сказать и о Солженицыне.